



ТАИНСТВЕННЫЕ РАССКАЗЫ



Эдгар Аллан По

Таинственные рассказы

Издательство «РИМИС»

По Э.

Таинственные рассказы / Э. По — Издательство «РИМИС»,

Рассказы, вошедшие в сборник, дают возможность оценить многогранность таланта Эдгара Аллана По, непревзойденного мастера приключенческого, научно-фантастического, детективного, мистического жанров. Подобно взмаху палочки талантливого дирижера, росчерк авторского пера создает леденящие душу рассказы «Береника» и «Морелла», увлекающие в водоворот неожиданных событий детективные рассказы «Похищенное письмо» и «Тайна Мари Роже», а также другие произведения, «раздвигающие границы эмоционального и рационального постижения действительности».

© По Э.

© Издательство «РИМИС»

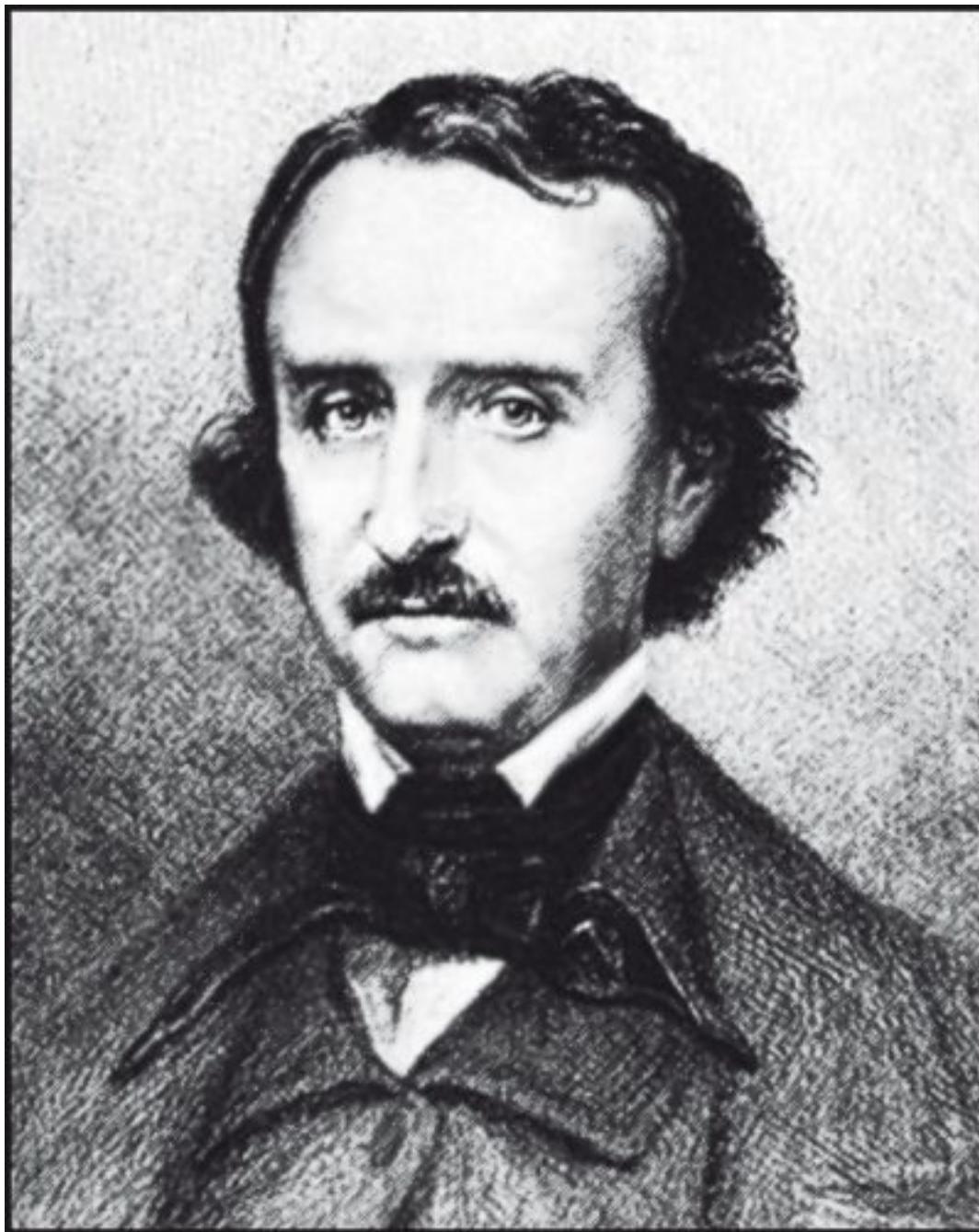
Содержание

Эдгар По. Биографический очерк	5
Береника	11
Морелла	18
Четыре зверя в одном	23
Лигейя	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Эдгар Аллан По

Таинственные рассказы

Эдгар По. Биографический очерк



Величайший из американских поэтов родился 19 января 1809 г., в Бостоне США. Его родители, актеры бродячей труппы, умерли, когда Эдгару было всего два года. Мальчика принял и усыновил зажиточный купец из Виргинии, Дж. Аллэн. Детство Эдгара прошло в обстановке богатой. Аллэны не жалели средств на его воспитание; хотя порой дела их шли неудачно, так что им даже грозило банкротство, мальчик этого не чувствовал: его одевали «как принца», у него была своя лошадь, свои собаки, свой грум. Когда Эдгару было шесть лет, Аллэны

поехали в Англию; там отдали мальчика в дорогой пансион в Лондоне, где он и учился пять лет. По возвращении Аллэнов, в 1820 г., в Штаты Эдгар поступил в колледж в Ричмонде, который кончил в 1826 г. Заканчивая образование Эдгара отправили в университет в Ричмонде, тогда только что основанный.

Эдгар развился рано: в пять лет – читал, писал, рисовал, декламировал, ездил верхом. В школе – легко поглощал науки, приобрел большой запас знаний по литературе, особенно английской и латинской, по всеобщей истории, по математике, по некоторым отраслям естествознания, как астрономия, физика. Физически Эдгар был силен, участвовал во всех шалостях товарищей, а в университете – во всех их кутежах. Характер будущего поэта с детства был неровный, страстный, порывистый; в его поведении было много странного. С ранних лет Эдгар писал стихи, увлекался фантастическими планами, любил производить психологические опыты над собой и другими; сознавая свое превосходство, давал это чувствовать.

Жизнь в богатстве кончилась для Эдгара, когда ему не было и полных 17 лет. В университете он пробыл всего год. Осенью 1826 г. произошел разрыв между Дж. Аллэном и его приемным сыном. Кто был «виноват», теперь выяснить трудно. Есть свидетельства, неблагоприятные для Эдгара; рассказывают, что он подделал векселя с подписью Дж. Аллэна, что однажды, пьяный, наговорил ему грубостей, замахнулся на него палкой, и т. п. С другой стороны, неоткуда узнать, что терпел гениальный юноша от разбогатевшего покровителя (Дж. Аллэн получил неожиданное наследство, превратившее его уже в миллионера), вполне чуждого вопросам искусства и поэзии. По-видимому, искренно любила Эдгара только г-жа Аллэн, а ее муж давно уже был недоволен слишком эксцентричным приемным сыном. Поводом к ссоре послужило то, что Аллэн отказался заплатить «карточные долги» Эдгара. Юноша считал их «долгами чести» и не видел иного исхода для спасения этой «чести», как покинуть богатый дом, где воспитывался.

Для Эдгара По началась скитальческая жизнь. Покинув дом Аллэнов, он поехал в родной Бостон, где напечатал сборник стихов под псевдонимом «бостонца»; книжка, впрочем, «в свет не вышла». Это издание, вероятно, поглотило все сбережения юноши. Не имея приюта, он решился на крутой шаг – и поступил солдатом в армию, под вымышленным именем. Службу он нес около года, был у начальства «на хорошем счету» и даже получил чин сержант-майора. В конце 1827 или в начале 1828 г. поэт, однако, не выдержал своего положения, обратился к приемному отцу, прося помощи, и, вероятно, выражал раскаяние. Дж. Аллэн, может быть, по ходатайству жены, пожалел юношу, оплатил наем заместителя и выхлопотал Эдгару освобождение. Но, приехав в Ричмонд, Эдгар уже не застал в живых своей покровительницы: г-жа Аллэн умерла за несколько дней до того (28 февраля 1829 г.).

Получив свободу, Эдгар По вновь обратился к поэзии. Он вновь побывал в Балтиморе и познакомился там со своими родственниками по отцу (которые разошлись с ним из-за его женитьбы на актрисе) – с сестрой, с бабушкой, с дядей Георгом По и его сыном Нельсоном По. Последний мог познакомить Эдгара с редактором местной газеты, У. Гвином. Через Гвина Эдгар получил возможность обратиться к видному тогда нью-йоркскому писателю Дж. Нилю. И Гвину, и Нилю начинающий поэт представил на суд свои стихи. Отзыв, при всех оговорках, был самый благоприятный. Результатом было то, что в конце 1829 г., в Балтиморе, вторично был издан сборник стихов Э. По под его именем, озаглавленный «Аль-Аарааф, Тамерлан и малые поэмы». На этот раз книжка поступила в магазины и в редакции, но прошла незамеченной.

Между тем Дж. Аллэн настаивал, чтобы Эдгар закончил свое образование. Решено было, что он поступит в Военную Академию в Вест-Пойнте, хотя по годам он уже не подходил к этой школе для юношей. В марте 1830 г., через ходатайство Аллэна, Эдгар все же был принят в число студентов, и его приемный отец подписал за него обязательство отслужить в армии 5 лет. Вряд ли Эдгар охотно шел в Академию; во всяком случае, он скоро убедился, что карьера, навязанная ему приемным отцом, – совершенно для него неприемлема. Нормальным поряд-

ком покинуть школу Эдгар не мог. С обычной горячностью он взялся за дело иначе и сумел добиться того, что в марте 1831 г. был из Академии исключен. Этим юный поэт опять вернул себе свободу, но, конечно, вновь рассорился с Дж. Аллэном.

Из Вест-Пойнта Эдгар По уехал в Нью-Йорк, где поспешил издать третий сборник стихов, названный, однако, «вторым изданием»: «Поэмы Эдгара А. По. Второе издание». Средства на издание были собраны подпиской; подписались многие товарищи по Академии, ожидавшие, что найдут в книге те стихотворные памфлеты и эпиграммы на профессоров, которыми студент Аллэн По стал известен в школе. Таким подписчикам пришлось разочароваться. Покупателей у книги, расцененной дорого, в 2 доллара, не нашлось. Немногочисленные рецензии подсмеивались над «непонятностью» стихов.

В 1831 г. Эдгар По делал попытки занять какое-либо определенное положение в обществе. Сохранилось от этого времени два письма. Первое, от 10 марта 1831 г., Эдгар По послал некоему полковнику Тэйеру с фантастической просьбой: помочь ему, Эдгару, как сержант-майору американской армии, поступить в ряды французских войск, если Франция вступится за Польшу и пошлет повстанцам 1831 г. помощь против России. Вероятно, письмо осталось без ответа. Второе, от 6 мая 1831 г., адресовано Уильяму Гвину, о котором уже упоминалось: Эдгар По просил доставить ему какую-нибудь литературную работу. Если ответ и был, то отрицательный. Тогда же, летом 1831 г., Эдгар По искал места учителя в одной школе в Балтиморе, но тоже безуспешно. Есть еще сомнительные сведения, что Эдгар По вновь обращался к своему приемному отцу и что тот выдавал ему какие-то денежные пособия. Во всяком случае, пособия эти были крайне незначительны.

Три года, с осени 1831 по осень 1833 г., – самый темный период в биографии Эдгара По. Летом 1831 г. Эдгар По жил в Балтиморе, у своей тетки г-жи Клемм, матери той Виргинии, которая стала женой поэта; заметим, что Виргинии тогда было всего 9 лет. С осени 1831 г. следы Эдгара По теряются. Некоторые биографы предполагали, что на эти годы падает поездка Эдгара По в Европу. В своих стихах и рассказах Эдгар По не раз говорит о разных местностях Европы тоном очевидца (напр., в стихотворении «КЗанте»). Но никакие документальные данные такой поездки не подтверждают, да и вряд ли у Эдгара По могли быть средства на нее. Вероятно, что эти три года Эдгар По провел в Балтиморе, существуя на скудные пособия Дж. Аллэна, на случайные заработки и пользуясь помощью г-жи Клемм, которая любила юного поэта, как сына, но сама была бедна. К концу этого периода Эдгар По дошел до крайней стесненности, вернее – до подлинной нищеты.

Несомненно, что за эти годы молодой поэт все же много работал. Им был написан ряд новелл – лучших в раннем периоде его творчества. Осенью 1833 г. балтиморский еженедельник «Saturday Visitor» («Субботний Гость») объявил конкурс на лучший рассказ и на лучшее стихотворение. Эдгар По послал на конкурс шесть рассказов и отрывок в стихах «Колисей». Члены жюри, Дж. Кеннеди,

Д. Латроб и Дж. Миллер, единогласно признали лучшими и рассказ, и стихи Эдгара По. Однако, не считая возможным выдать две премии одному лицу, премировали только рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке», за который автору и была выдана премия в 100 долларов. Деньги подоспели как раз вовремя. Эдгар По буквально голодал и, когда Кеннеди пригласил его к себе обедать, должен был отказаться за отсутствием мало-мальски приличного костюма...

Весной следующего года, в марте 1834. г., умер Дж. Аллэн, не оставив по завещанию своему приемному сыну ни цента. Но к этому времени Эдгар По уже начал работать в журналах. Сначала он помешал кое-что в «Saturday Visitor»; потом был рекомендован Кеннеди водно нью-йоркское издание к Томасу Уайту, издававшему в Ричмонде «Southern Literary Messenger» («Южный Литературный Вестник»). В этом последнем журнале Эдгар По стал сотрудничать регулярно, поместив там ряд статей и, между прочим, весной 1835 г., новеллы «Морэлла» и «Береника», а потом «Приключения Ганса Пфалля», имевшие у американской

публики огромный успех. Говорят, что при сотрудничестве Эдгара По тираж журнала возрос с 700 до 5000 подписчиков.

Дж. Уайт пригласил Эдгара По редактировать «Вестник», с жалованьем в 10 долларов в неделю. Эдгар По должен был переехать в Ричмонд, но до отъезда пожелал обвенчаться с той Виргинией, которую знал с детства и давно любил. Виргиния во многом была подобна идеальным героиням сказок Эдгара По; красота ее была исключительная. Но летом 1835 г. Виргинии все еще не было полных тринадцати лет (так как она родилась 22 августа 1822 г.). Родственники Эдгара, особенно Нельсон По, о котором уже упоминалось, были против такого брака с девочкой, но Эдгар настаивал, и мистрисс Клемм, мать невесты, приняла его сторону. Эдгар и Виргиния были негласно обвенчаны, но новобрачная осталась в доме матери, и через год (16 мая 1836 г.) церемония венчания была повторена открыто; впрочем, и тогда Виргинии не доставало 3 месяцев до четырнадцати лет.

Новобрачные предполагали жить вместе с м-с Клемм в Ричмонде, где у Эдгара По была квартира в доме Уайта. Однако между редактором и издателем неожиданно произошел разрыв, причины которого не вполне выяснены. 3 января 1837 г. Эдгар По сложил с себя обязанности редактора «Вестника», дававшие ему уже 15 долларов в неделю, и в том же месяце уехал с семьей в Нью-Йорк как в самый крупный литературный центр Штатов. В Нью-Йорке поэт поселился в жалком домишке (на Carmine-Street), причем м-с Клемм решила там открыть пансион, вернее, просто сдавать жильцам «комнаты со столом».

В Нью-Йорке Эдгар По прожил почти два года. Он сотрудничал в разных изданиях, преимущественно в «American Museum» («Американский Музей»), напечатав за это время несколько из замечательнейших своих поэм и новелл, в том числе и «Лигейю». Отдельно он издал «Приключения Артура Гордона Пима», повесть, прошедшую мало замеченной в Америке, но имевшую большой успех в Англии. Гонорар Эдгара По обычно не превышал 5–6 долларов за рассказ, редко доходя до 10 долларов, так что поэт постоянно нуждался. Любопытно, что наибольший материальный успех выпал на долю составленного Эдгаром По руководства по хронологии, которое, по существу, было почти плагиатом, – сокращением и поверхностной переделкой труда одного шотландского профессора: работа была исполнена столь удачно, что переделку покупали предпочтительно перед оригиналом.

В конце 1838 г. Эдгар По с семьей вновь переселился, на этот раз – в Филадельфию, тоже большой литературный центр, соперничавший с Нью-Йорком. Эдгару По было предложено место редактора, опять с жалованьем в 10 долларов и неделю, со стороны «Gentleman's Magazine» (буквально: «Джентльменский Журнал», т. е. журнал для читателей избранных, культурных), возникшего только в предыдущем году. В этом издании Эдгар По опять поместил ряд замечательных новелл, в том числе «Падение дома Эшер», и нес все тяготы чисто журнальной работы. Там же, в 1840 г., Эдгар По начал печатать «Записки Юлия Родмана», самое крупное (по размерам) свое произведение после «Приключений Артура Пима»; но «Записки» остались незаконченными. Сотрудничал Эдгар По и в других изданиях.

Долго и упорно Эдгар По мечтал основать собственный журнал; даже был уже напечатан проспект о ежемесячнике «Penn Magazine», но издание не осуществилось, конечно, по недостатку средств. С февраля 1841 г. «Gentleman's Magazine» соединился с журналом «The Casket» («Шкатулка») в одно издание под названием «Graham's Magazine» («Журнал Грехэма»), руководителем которого остался Эдгар По. В короткое время тираж этого нового журнала достиг значительной цифры в 40000 экземпляров. Положение Эдгара По как будто упрочивалось. В конце 1840 г. Эдгар По собрал свои новеллы в отдельном издании, в 2 томах, под заглавием «Гротески и Арабески». В любопытном предисловии к этому изданию Эдгар По защищает от упрека в «германизме», говоря, что «страх», составляющий тему многих рассказов, – явление не «германское», а психическое.

Сравнительное преуспевание Эдгара По длилось недолго. «Гротески», по издательскому выражению, «не пошли»; «Журнал Грехэма» неожиданно распался. Издатель журнала пригласил для работы в редакции Р. Гризвольда, которого Эдгар По имел поводы считать своим личным врагом. Нервность, страстность Эдгара По повела к тому, что он немедленно покинул редакцию, чтобы не возвращаться в нее более. Это произошло в марте 1842 г. После того начались тщетные поиски места и заработка. Эдгару По давали обещания, но не исполняли их; проходили месяцы, скудные сбережения исчерпывались. В несчастьи Эдгар По все чаще уступал болезненному влечению к алкоголю, и его враги пользовались его болезнью, чтобы унижить его. Р. Гризвольд, занявший место Эдгара По в «Журнале Грехэма», печатал яростные нападки на поэта. Эдгар По, по возможности, отвечал, не щадя самолюбия бездарного стихокропателя. Эта полемика много повредила Эдгару По в литературных кругах.

Не без труда Эдгар По нашел, наконец, скучную работу в «Saturday Museum» («Субботный Музей»). Между тем гениальные сказки и новеллы поэта, оплачиваемые ничтожным гонораром, 2–3 доллара за страницу, печатались в мелких американских журналах, в том числе «Элеонора», «Колодец и Маятник», «Тайна Мари Роже». Только «Золотой жук», рукопись которого долго валялась в редакции «Журнала Грехэма», доставил автору премию в 100 долларов на конкурсе, который был организован захудалым изданием «The Dollar Newspaper» («Временник в один доллар»). Рассказ был затем перепечатан несчетное число раз, но не принес автору более ничего: законы о печати были тогда в Штатах еще несовершенны. Несколько больший заработок давали публичные лекции, и Эдгар По все чаще стал выступать лектором, пользуясь, между прочим, кафедрой для полемики со своими врагами, особенно с Гризвольдом.

Так просуществовал Эдгар По с семьей годы 1841–1843, живя в маленьком домишке в предместьях Филадельфии. Но тяжелое испытание подстерегало поэта. У Виргинии, после пения, лопнул кровеносный сосуд. Несколько дней она была при смерти; потом оправилась, но с тех пор ее жизнь стала медленным умиранием. Кровотечения из горла повторялись и каждый раз грозили смертью. Эдгар По дошел до пределов отчаяния. Он утратил способность работать систематически. Рядом с вином, он стал прибегать к опию. Для жены и ее матери то был – ужас; для самого Эдгара – стыд, так как он и сам считал свою болезнь пороком; для литературных врагов – предлог для неистовых обвинений и коварных соболезнований. К 1844 г. Эдгар По с семьей снова дошел до нищеты; они голодали. Положение было таково, что Эдгар По написал письмо Гризвольду, прося ссудить 5 долларов.

В апреле 1844 г. По опять переехал в Нью-Йорк. Издатель местной газеты нажил хорошие деньги, устроив ловкую рекламу рассказу Эдгара По «Перелет через Атлантику», но сам автор получил гроши. В нью-йоркских журналах было напечатано несколько новых новелл Эдгара По, но гонорар едва спасал от голодной смерти. В январе 1845 г. журнал «Evening Mirror» («Вечернее Зеркало») напечатал поэму «Ворон», которую поэт тщетно предлагал в другие издания.

За это свое знаменитейшее создание Эдгар По получил 10 долларов. (Позднее, в 1891 г., автограф «Ворона» был продан на аукционе за 225 долларов, а автограф «Колоколов», в 1905 г., за 2100 долларов). Впрочем, успех поэмы был исключительный; об ней много говорили, сам автор мог прочесть несколько лекций о «Вороне» в разных городах; поэта стали приглашать, как знаменитость, в «лучшее» общество Нью-Йорка.

Полоса успеха длилась около года. Благодаря публичным лекциям появились кое-какие деньги. Затем, в том же 1845 г., было выпущено отдельное собрание стихов Эдгара По, «Ворон и другие поэмы», потребовавшее повторения в том же году, а в следующем, 1846, переизданное в Англии. Ряд новых новелл Эдгара По был напечатан в разных журналах. Наконец, издатели нового «Brooklyn Journal» («Бродвейский Журнал») пригласили Эдгара По членом редакции. Последнее, однако, вряд ли послужило поэту на пользу. Он скоро рассорился с соиздателями и отважно принял на одного себя все ведение журнала. Но всего гения поэта, всей той изуми-

тельной трудоспособности, которую он умел проявлять по временам, оказалось недостаточно; был нужен капитал, а денег не было. Эдгар По занимал по маленьким суммам, опять обращался к Гризвольду за ссудой в 50 долларов; но это не могло спасти издание. Уже 25 декабря 1845 г. Эдгар По должен был сложить обязанности редактора.

С 1846 г. возобновилась прежняя бедственная жизнь, – жалкие гонорары, скудные доходы с лекций, не всегда удачных, приступы алкоголизма, и все это – рядом с умирающей безумно любимой женой.

Поэт-энтузиаст строил химерические проекты, задумывал грандиозные литературные планы, но все это оставалось мечтами. В ту эпоху у Эдгара По уже были верные друзья, Уиллис, г-жа Осгуд, г-жа Шю и др., которые, сколько могли, помогали поэту. Из воспоминаний этих лиц рисуется мучительная картина жизни Эдгара По в этом году. Сидя у постели угасающей Виргинии, поэт опять не в силах был работать. Денег в доме не было; есть было нечего; зимой не было дров. Эдгар согревал руки больной своим дыханием или клал ей на грудь большую кошку: большего, чтобы защитить Виргинию от холода, он сделать не мог. 30 января 1847 г. Виргиния умерла. Только благодаря помощи г-жи Шю похороны были «приличны», что особенно оценила м-с Клемм.

Последние годы жизни Эдгара По, 1847–1849, были годы метаний, порой полубезумия, порой напряженной работы, редких, но шумных успехов, горестных падений и унижений и постоянной клеветы врагов (из коих одного поэт даже привлек к суду). Виргиния, умирая, взяла клятву с г-жи Шю – не покидать Эдди (Эдгара); она и его другие друзья старались удерживать его от неосторожных поступков, но это было не легко. Эдгар По еще пленялся женщинами, воображал, что вновь любит, была речь о его женитьбе на подруге его юности, Эльмире Райт. В жизни он держал себя странно, вызывая недоумение окружающих. Однако он издал еще несколько гениальных произведений: «Юлалюм», «Колокола», «Аннабель Ли». Он написал также философскую книгу «Эврика», которую считал величайшим откровением, когда-либо данным человечеству.

Но недуг уже разрушал жизнь поэта; припадки алкоголизма становились все мучительнее, нервность возрастала почти до психического расстройства. Г-жа Шю, не умевшая понять болезненного состояния поэта, сочла нужным устраниваться из его жизни. Осенью 1849 г. наступил коней. Полный химерических проектов, считая себя вновь женихом, Эдгар По, в сентябре этого года, с большим успехом читал в Ричмонде лекцию о «Поэтическом принципе». Из Ричмонда Эдгар По выехал, имея 1500 долларов в кармане. Что затем произошло, осталось тайной. Может быть, поэт подпал под влияние своей болезни; может быть, грабители усыпили его наркотиком. Эдгара По нашли на полу в бессознательном состоянии, ограбленным. Поэта привезли в Балтимор, где Эдгар По и умер в больнице 7 октября 1849 г.

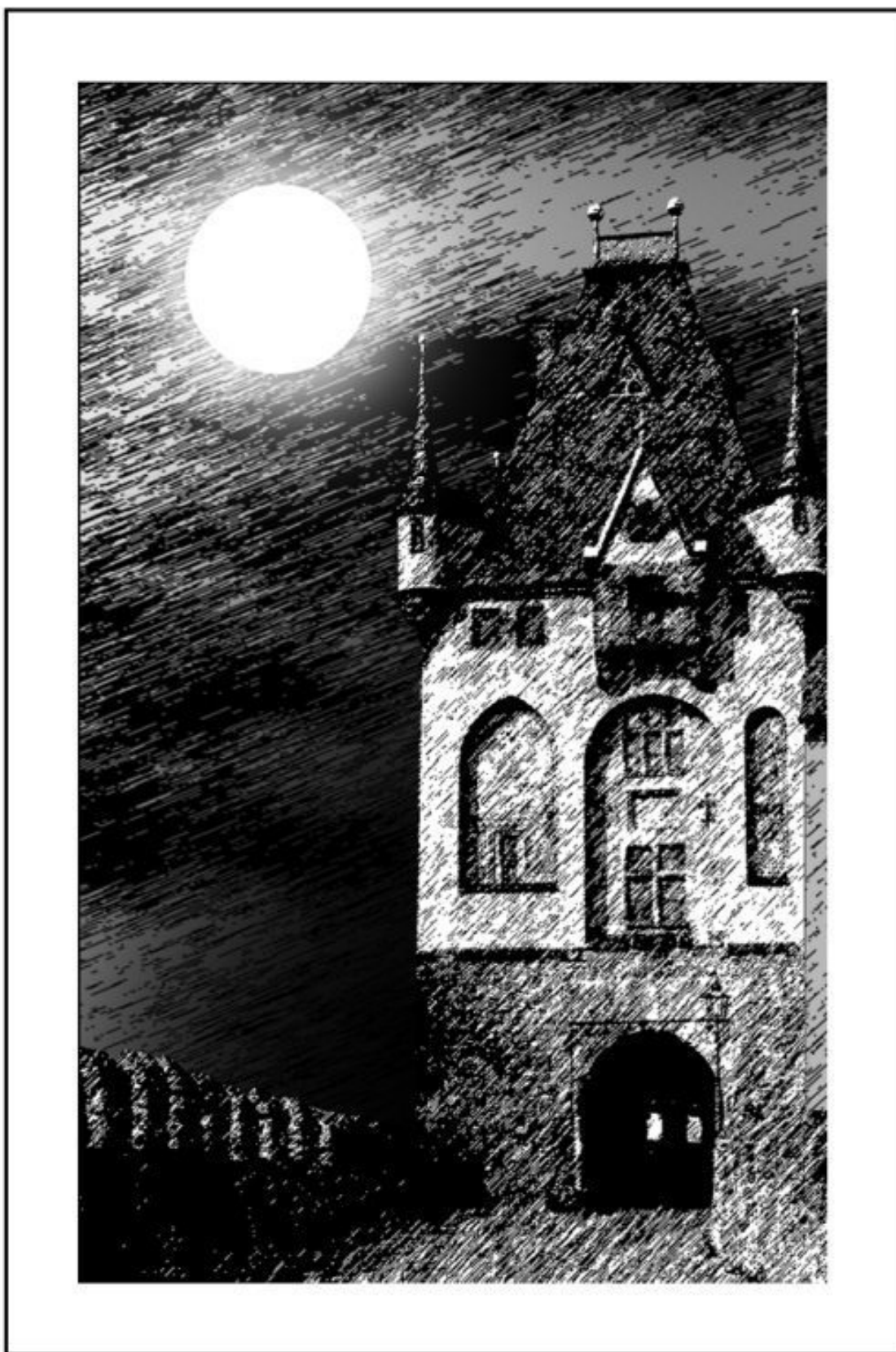
По собственному распоряжению Эдгара По, редактором посмертного издания его сочинения был избран Р. Гризвольд. Это роковым образом предопределило посмертную судьбу поэта на долгие десятилетия. В память ближайших поколений благодаря заботам Гризвольда Эдгар По вошел как полусумасшедший пьяница, автор занимательных, но диких и извращенных произведений. Медленно, очень медленно стараниям истинных ценителей творчества Эдгара По удавалось изменять такое предвзятое мнение. Только в конце XIX и в начале XX века была восстановлена, в документально обоснованных биографиях, подлинная судьба поэта, составлено действительно полное собрание его сочинений и дана возможность читателям правильно судить о величайшем из поэтов новой Америки.

Валерий Брюсов

Береника

*Dicebant mihi sodales si sepulchrum
amicae visitarem, curas
meas aliquantulum fore levatas¹.*
Ибн Заят

¹ Друзья говорили мне, что горе мое будет несколько облегчено, если я навещу могилу моей подруги (лат.).



Рассказ «Береника» впервые опубликован в журнале «Сатерн литерери мессенджер» в марте 1835 г.

На русском языке впервые – в журнале «Дело», май 1874 г.

Береника

Несчастье многогранно. Многолико земное горе. Охватывая широкий горизонт подобно радуге, оно несет в себе столько же красок, как и эта небесная арка, – и столь же отличных друг от друга, и так же сливающихся воедино. Охватывая широкий горизонт подобно радуге! Почему в красоте усмотрел я воплощение безобразия, в залоге безмятежности – улыбку скорби? Но как в этике зло является следствием добра, так в жизни из радости рождается скорбь: воспоминания о прошлом блаженстве становятся нынешним страданием, и муками оборачиваются несбывшиеся восторги.

Я был крещен Эгеем, родовое же свое имя я тут не упомяну. И все же в стране не найдется замка более древнего, чем угрюмые серые башни, унаследованные мною от длинной вереницы предков. Наш род слыл родом духовидцев, и многие причудливые особенности – в самой архитектуре дома, во фресках парадного зала, в гобеленах спален, в каменной резьбе, украшающей столбы оружейной палаты, и более всего в старинных портретах картинной галереи, в плане библиотеки и, наконец, в чрезвычайно своеобразном подборе книг этой библиотеки – с достаточной убедительностью оправдывают эту славу.

Самые ранние воспоминания моей жизни тесно связаны с этой комнатой и с этими фолиантами – о которых я в дальнейшем говорить не буду. Там умерла моя мать. Там родился я. Но к чему утверждать, будто я не жил прежде, будто душа не имеет предыдущего существования! Вы это отрицаете? Я не стану с вами спорить. Сам я в этом убежден, других же убеждать не хочу. Однако ведь есть воспоминание о воздушных образах, о духовных, исполненных бесконечного смысла глазах, о звуках, гармоничных и все-таки печальных; воспоминание, которого нельзя прогнать, воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неопределенное, зыбкое – подобное тени еще и в том, что от него нельзя избавиться, пока не затмится солнечный свет моего рассудка.

В этой комнате я родился. И когда от долгой ночи, которая казалась, но не была отсутствием существования, я пробудился в поистине волшебной стране, в чертогах воображения, в необъятных владениях монастырской мысли и эрудиции – удивительно ли, что я озирался по сторонам изумленным и жадным взором, что я праздно провел мое детство за книгами и растратил юность на размышления. Но удивительно другое: прошли годы, и расцвет молодости застал меня в отчем доме, и поразительно то, какими застойными стали источники моей жизни, поразительно то полное смещение, которое произошло в строе самых обычных моих мыслей. Материальный мир вокруг меня представлялся мне совокупностью видений, и только видений, тогда как прихотливые образы страны воображения сделались не просто пищей моего повседневного существования, но самим этим существованием, исчерпывая и замыкая его.

* * *

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в стенах дома моих предков. Но как по-разному росли мы! Я – хилый и угрюмый, она – грациозная, подвижная, полная радости и энергии; она гуляла по холмам и долинам, я склонялся над книгами в монастырском уединении библиотеки; я – углубленный в себя, телом и душой отдающийся самым напряженным и мучительным размышлениям, она – беспечно порхающая по жизни без мысли о теньях на ее тропе, о чередѣ часов, безвозвратно уносящихся прочь на вороновых крыльях. Береника! Я повторяю ее имя – Береника! – и этот звук поднимает из серых руин памяти тысячи смятенных воспоминаний. И ее образ стоит сейчас перед моими глазами таким же, как в дни ее беззаботной и радостной юности. О великолепная и все же неизъяснимая красота! О сифида садов Арнгейма! О наяды его источников! А затем... а затем тайна, и ужас, и повесть, которую

не должно рассказывать. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч пустыни, и у меня на глазах все в ней переменялось: разум, привычки, характер и даже – неуловимо и ужасно – самая ее личность. Увы! Губитель явился и исчез, а жертва... что случилось с ней? Я больше не узнавал ее – не узнавал в ней Береники!

Среди многочисленной свиты недугов, порожденных самым первым и роковым, который повлек за собой столь жуткое преобразование нравственного и телесного облика моей кузины, можно упомянуть наиболее тягостный и упорный – разновидность эпилепсии, нередко завершающуюся оцепенением, подобным смерти, из которого она чаще всего восставала с неожиданной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь – мне велели называть ее только так и не иначе, – моя собственная болезнь овладевала мною все больше и обрела уже характер мономании, неизвестной прежде и необычайной; с каждым часом, с каждой минутой она набирала силу и в конце концов обрела надо мною полную и непостижимую власть. Эта мономания, раз уж я должен называть ее так, представляла собой болезненное возбуждение тех свойств сознания, которые метафизическая наука относит к сфере внимания. Весьма вероятно, что я не буду понят, но, боюсь, нет способа дать обычному читателю хотя бы слабое представление о той нервной интенсивности интереса, с каким я сосредоточивал всю силу моих мыслительных способностей (если не прибегать к специальным обозначениям) на самых тривиальных предметах.

Я мог часами раздумывать над какой-нибудь прихотливой виньеткой на полях книги или над особенностями ее шрифта, мог почти весь летний день пристально рассматривать странную тень на гобелене или на полу, мог всю ночь напролет предаваться созерцанию неколеблящегося язычка пламени в лампе или мерцающих углей в камине, мог целые дни грезить над ароматным цветком, мог одностонно твердить самое простое слово, пока от непрерывного повторения звук его не переставал сообщать мозгу какой-либо смысл, мог полностью утрачивать ощущение физического бытия, долго и упрямо сохраняя неподвижность. Таковы были некоторые из наиболее простых и неопасных чудачеств, вызванных определенным состоянием рассудка, – хотя их отнюдь нельзя назвать единственными в своем роде, они тем не менее не поддаются ни анализу, ни объяснению.

И все же не поймите меня неправильно. Это глубокое, неоправданное и болезненное внимание, возбуждавшееся предметами, по своей природе самыми заурядными, не следует путать со склонностью к задумчивости, которая свойственна всем людям, и особенно тем, кто наделен пылкой фантазией. Его нельзя даже считать, как могло бы показаться на первый взгляд, преувеличенной или доведенной до крайности вышеуказанной склонностью – нет, они различны и по самой своей сути не схожи. В первом случае мечтательная или пытливая натура, заинтересовавшись предметом, как правило, далеко не тривиальным, незаметно для себя увлекается идеями и заключениями, им подсказанными, и в конце концов, очнувшись от этих грез наяву, нередко упоительно прекрасных, обнаруживает, что *incitamentum* – побудительный толчок к размышлениям, их первопричина уже совершенно забыта. Что же касается меня, то таким толчком всегда и неизменно служили предметы самые тривиальные, хотя мое болезненное восприятие и наделяло их искаженной и несуществующей важностью. Почти никаких заключений я не выводил, и немногие возникавшие у меня мысли упрямо возвращались к исходному объекту, как к их центру и основе. Размышления эти никогда не бывали приятными, и по их завершении первопричина не только не оказывалась забытой, но, наоборот, вызывала именно тот неестественный и преувеличенный интерес, который и составлял главную особенность моей болезни. Короче говоря, как я уже упоминал раньше, у меня при этом особо возбуждалась сфера внимания, тогда как у мечтателя действует сфера умозрительного мышления.

Книги, которые я тогда штудировал, если и не прямо усугубляли мою болезнь, то, как легко заметить, хорошо сочетались с ее главными свойствами благодаря тому, что в своей непоследовательности они питались преимущественно воображением. Среди прочих мне ясно

вспоминается трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона «De Amplitudine Beati Regni Dei»², великий труд блаженного Августина «О граде божьем» и «De Carne Christi»³ Тертуллиана, чьей парадоксальной сентенции «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»⁴ я посвятил много недель скрупулезных и бесплодных изысканий.

Таким образом, нетрудно заметить, что мой рассудок, утрачивавший равновесие только из-за пустяков, походил на тот океанский утес, о котором повествует Птолемей Гефестион и который, стойко выдерживая натиск человеческих усилий и куда более яростные приступы волн и ветра, содрогался только от прикосновения цветка, называемого асфоделем. И хотя поверхностный наблюдатель может счесть само собой разумеющимся, что изменения, которые злосчастный недуг вызвал в духовном облике Береники, должны были бы давать мне много поводов для тех напряженных и болезненных размышлений, природу коих я попытался объяснить, это ни в малейшей степени не соответствовало действительному положению вещей. Бесспорно, в светлые промежутки, когда моя болезнь несколько утихала, несчастье Береники причиняло мне страдания, и, глубоко скорбя над таким крушением этой прекрасной и кроткой жизни, я, разумеется, часто с горечью задумывался о чудодейственных причинах, столь внезапно приведших к подобному странному преображению. Но эти размышления были свободны от влияния моей болезни и сходны с теми, каким при подобных обстоятельствах предавалось бы большинство совершенно здоровых людей. Верная своей природе, моя болезнь находила обильную пищу в менее важных, но более заметных переменах телесного облика Береники – в необычайном и пугающем изменении ее наружности.

Нет никакого сомнения, что в дни расцвета ее несравненной красоты я не питал к ней любви. В моем странном ущербном существовании мои чувства никогда не возникали в сердце и все мои страсти всегда были порождением рассудка. В сером полусвете раннего утра, в кружевных тенях леса в полдень и в безмолвии моей библиотеки вечером она то являлась моим глазам, то исчезала, и я видел ее не как живую Беренику из плоти и крови, но как Беренику сонных грез; не как земное существо, порождение земли, но как абстрактную идею такого существа, не как источник восхищения, но как повод для анализа, не как предмет любви, но как тему для сложнейших, хотя и рассеянных размышлений. А теперь... теперь я содрогался от ее присутствия и бледнел, когда она приближалась ко мне, и все же, горько сострадав ее нынешнему злополучному состоянию, я напомнил себе, что она давно меня любила, и в роковую минуту просил ее стать моей женой.

И вот, когда срок нашей свадьбы уже приближался, на исходе некоего зимнего дня – одного из тех не по времени теплых, тихих и туманных дней, которые называют кормилицей прекрасной Альционы⁵, – я сидел (и, как мне казалось, в одиночестве) в кабинете за библиотекой. Однако, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Мое ли возбужденное воображение, туман ли, разлитый в воздухе, сумрак ли комнаты, серые ли покровы, окутывавшие ее фигуру, – что придало ей такую неясность и зыбкость? Не знаю. Она молчала... как и я – ни за какие сокровища мира не мог бы я произнести ни единого слова. Ледяной холод разлился по моим членам, гнетущая тревога овладела мной, жгучее любопытство томило мою душу, и, откинувшись в кресле, я на несколько минут замер без движения, устремляя на Беренику пристальный взгляд. Увы, в очертаниях этой исхудалой фигуры

² «О величии блаженного царства божия» (лат.).

³ «О плоти Христовой» (лат.).

⁴ «Умер сын божий; это достойно веры, ибо нелепо; и погребенный восстал из могилы; это несомненно, ибо невозможно» (лат.).

⁵ «Юпитер в зимние месяцы дважды ниспосылает семь теплых дней, и люди называли эту благодатную и ласковую погоду кормилицей прекрасной Альционы» (Симонид). – *Прим. автора.*

нельзя было обнаружить ни единой прежней линии. Наконец мой пылающий взор обратился на ее лицо.

Лоб был высок, очень бледен и странно безмятежен; на него ниспадали некогда иссиня-черные волосы, скрывая впадины у висков под бесчисленными завитками – желтоватыми, отвратительно дисгармонизирующими в своей гротескности с глубокой меланхоличностью всего лица. Глаза были лишены жизни, лишены блеска и, казалось, лишены зрачков – и, не выдержав их стекленеющего взгляда, я посмотрел на узкие, сморщенные губы. Они раздвинулись, и в непонятной улыбке моему взору открылись зубы изменившейся Береники. О, если бы бог не судил мне видеть их! О, если бы, увидев их, я тут же умер!

* * *

Стук захлопнувшейся двери вывел меня из задумчивости, и я обнаружил, что моя кузина покинула библиотеку. Но белый жуткий призрак ее зубов, увы, не покинул моего смятенного мозга, и изгнать его оттуда не удавалось. Краткого мгновения ее улыбки оказалось достаточно, чтобы каждая точка на их поверхности, каждый оттенок их эмали, каждая зазубринка на их краях навеки запечатлелись в моей памяти. И теперь я видел их даже еще более ясно, чем тогда. Зубы! Зубы! Они были и тут, и там, и повсюду, зримые, ощутимые, куда бы я ни посмотрел – длинные, узкие, неимоверно белые, обрамленные шевелящимися бледными губами, как в первый миг их ужасного обнажения. Моя мономания вспыхнула с яростной силой, и тщетно пытался я совладать с ее странной и необоримой властью. Из всех бесчисленных предметов внешнего мира я был способен думать только о зубах. Я жаждал их с исступленным безумием. Все остальное отступило и исчезло. Только они, только они одни стояли перед моим внутренним взором, и они, единственные и неповторимые, составляли всю сущность моих мыслей. Я рассматривал их при всевозможном освещении. Я поворачивал их под всевозможными углами. Я исследовал каждую их частность, я изучал каждую их особенность. Я думал об их форме. Я размышлял об изменениях в их природе. Я содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать и понимать и уметь даже без помощи губ выражать свои чувства. О мадемуазель Салле отлично сказали, что *«tous ses pas étaient des sentiments»*⁶, а я серьезно думал о Беренике, что *tous ses dents étaient des idées*⁷. *Des idées!* О, вот идиотическая мысль, погубившая меня! *Des idées!* А, вот почему я возжелал их с такой страстью! Я чувствовал, что рассудок вновь вернется ко мне и я обрету душевный покой, только став их обладателем.

Вот так я встретил исход вечера, а затем наступила тьма, и сомкнулась на свой срок, и исчезла, и вновь занялся день, и вот уже начали стучаться туманы новой ночи, а я по-прежнему сидел неподвижно в уединении библиотеки, по-прежнему предаваясь размышлениям, и призрак зубов все так же сохранял страшную власть надо мной, с совершеннейшим и жутким правдоподобием кружа по комнате в меняющихся сочетаниях света и теней. Наконец в мои грезы ворвался вопль ужаса и смятения, а потом – гул встревоженных голосов, к которому примешивались тихие стенания печали, а может быть, страдания. Я встал с кресла и, распахнув одну из дверей, увидел в галерее служанку, всю в слезах. Она сказала мне, что Береника... скончалась! Утром у нее начался эпилептический припадок, а сейчас, перед наступлением ночи, могила была уже готова принять ее и все приготовления к погребению были завершены.

⁶ «Каждый ее шаг был чувством» (франц.).

⁷ Каждый ее зуб был мыслью (франц.).

* * *

Я обнаружил, что сижу в библиотеке, и вновь сижу там один. Мне казалось, что я очнулся от хаотичного и лихорадочного сна. Я знал, что теперь была полночь, и помнил, что после захода солнца Беренику похоронили. Но о тягостном промежутке между этими двумя моментами я не сохранил никакого точного или хотя бы примерного представления. И все же мысль об этом промежутке была насыщена ужасом – ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом тем более страшным, что он был неопределенным. Это была леденящая душу страница моего существования, вся исписанная зыбкими, отвратительными и невнятными воспоминаниями. Я пытался разобраться в них, но тщетно, а время от времени, точно фантом умершего звука, в моих ушах раздавался пронзительный женский крик. Я что-то сделал – но что? Я задавал себе этот вопрос вслух, и шепчущее эхо под сводами отвечало мне: «Что?.. Что?».

На столе возле меня горела лампа, а рядом с ней стояла небольшая шкатулка. В ней не было ничего примечательного, и я не раз видел ее прежде, так как она принадлежала нашему домашнему врачу. Но каким образом оказалась она здесь, на моем столе, и почему я содрогался, глядя на нее? Я не находил этому объяснения, и в конце концов мои глаза опустились на раскрытую книгу, остановившись на подчеркнутой фразе. Это были поразительные, но простые слова поэта Ибн Зайята: «Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Так почему же, пока я перечитывал их, волосы на моей голове встали дыбом и кровь застыла в моих жилах?

Раздался легкий стук в дверь, и в библиотеку, бледный, как обитатель могилы, на цыпочках вошел слуга. Его лицо было искажено ужасом, и он заговорил со мной дрожащим, хриплым, еле слышным голосом. Что сказал он? Я уловил отдельные фразы. Он говорил о безумном вопле, нарушившем безмолвие ночи, о том, как сбежались слуги, о том, как они пошли туда, откуда донесся звук... Тут его голос стал пронзительно отчетливым, и он зашептал мне про оскверненную могилу, про обезображенное тело в саване – но еще дышащее... еще содрогающееся... еще живущее!

Он поглядел на мою одежду – она была выпачкана глиной и забрызгана кровью. Я молчал, и он осторожно взял мою руку – на ней были следы человеческих ногтей. Он указал на какой-то предмет у стены. Я несколько минут глядел на него – это был заступ. С криком я прыгнул к столу и схватил шкатулку, которая стояла на нем. Но у меня не было сил ее открыть. Она выскользнула из моих дрожащих пальцев, ударилась об пол и разлетелась вдребезги. И из нее со стуком выпали инструменты, которыми пользуются дантисты, и еще – тридцать два маленьких белых костяных на вид кусочка, которые рассыпались по всему полу.

Морелла

*Ἄυτό χατ' αὐτά μετ' αὐτοῦ
μονοειδές αἰεὶ ὢν⁸.
Платон, «Пир», 211*

⁸ С собой, только собой, в своем вечном единстве (греч.).



Рассказ «Морелла» впервые опубликован в журнале «Сатерн литерери мессенджер» в апреле 1835 г.

На русском языке впервые – в журнале «Приложение романов к газете "Свет"», 1884, кн. II.

Морелла

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запыхала пламенем, прежде ей неведомым, однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее дарования, а сила ума – велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

Рассудок мой – если я не обманываю себя – несколько к этому причастен не был. Идеальное – разве только я себя совсем не знаю – нив чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены – или я глубоко заблуждаюсь – тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда... когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный дух, Морелла клала холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха – и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной.

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представляют себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте; видоизмененная *παλιγγένεσις*⁹ пифагорейцев и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг, – вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Локк, если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. *Principium individuationis*, представление о личности, которая исчезает – или не исчезает – со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнестить меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость, или мое безумие, и с улыбкой назы-

⁹ Вторичное рождение (греч.).

вала его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время, когда на ее щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к брэнной оболочке – много дней, много недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, – так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга.

– Это день дней, – сказала она, когда я приблизился. – Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть.

Дивный день для сынов земли и жизни... но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее лоб, а она продолжала:

– Я умираю, и все же я буду жить.

– Морелла!

– Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

– Морелла!

– Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности – о, такой малой! – которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить – твое дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту, но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке.

– Морелла! – вскричал я. – Морелла, как можешь ты знать это!

Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно развивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жадой уверовать, – можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подо-

зрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И по мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль и ужас – червя, который не умирал!

Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» – отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери – говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обительниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание о котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога – Морелла? И некто больший, нежели злой дух, искажил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

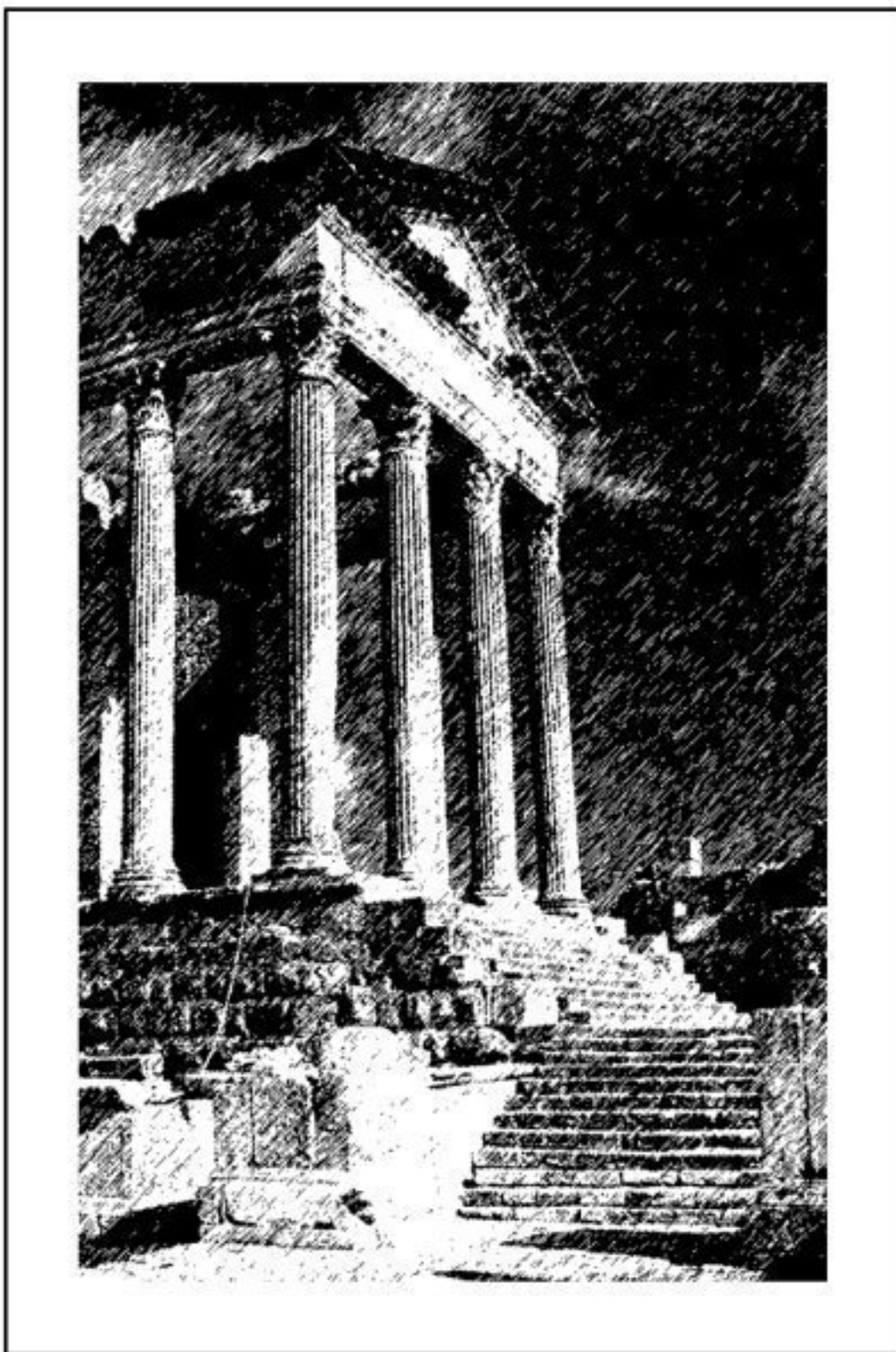
– Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы... годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении – никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только – Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек – Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.

Четыре зверя в одном

*Chacun a ses vertus*¹⁰.
Кребийон, «Ксеркс»

¹⁰ У каждого свои добродетели (*франц.*).



Рассказ «Четыре зверя в одном» впервые опубликован в журнале «Сатерн литерери мессенджер» в марте 1836 г. под названием «Эпиманес».

На русском языке впервые – во втором томе Собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта, СПб, 1896.

Человек-камелеопард

Антиоха Епифана нередко считают тем Гогом, о коем говорит пророк Иезекиил. Однако честь эта по праву принадлежит Камбизу, сыну Кира. Репутация же упомянутого сирийского монарха поистине не нуждается ни в каких добавочных приукрашиваниях. Его восшествие на престол, а вернее, узурпация власти за сто семьдесят один год до рождения Христова, его попытка ограбить храм Дианы в Эфесе, его беспощадная ненависть к евреям, осквернение им Святая Святых и жалкая смерть в Табе после бурного одиннадцатилетнего царствования – все это достаточно выдающиеся события, а потому современные ему историки замечали главным образом их, а не те кощунства, подлости, жестокости, глупости и нелепые прихоти, из которых слагались его частная жизнь и характер.

* * *

Вообразим, любезный читатель, что нынче идет три тысячи восемьсот тридцатый год от сотворения мира, и перенесемся на краткий срок в это гротескное обиталище человека – славный город Антиохию. Да, разумеется, в Сирии и других странах было, кроме того, который я имею в виду, еще шестнадцать городов с таким названием. Но тот, где очутились мы, именуется Антиохией Эпидафной из-за близлежащей деревушки Дафны, где был воздвигнут храм этому божеству. Построил город (хотя тут существуют разногласия) в память отца своего Антиоха Селевк Никанор, первый царь этой страны, правивший там после смерти Александра Македонского, и сирийские монархи сразу же сделали его своей резиденцией. В дни расцвета Римской империи Антиохия была обычным местом пребывания префекта восточных провинций, и многие императоры Вечного Города проводили там немалую часть своего царствования – среди этих последних следует особо упомянуть Вера и Валента. Однако мы уже прибыли. Так поднимемся же вон на ту стену и окинем взором как сам город, так и его окрестности.

– Что это за широкая и бурная река, которая, низвергаясь бесчисленными водопадами, пробивает себе путь сквозь лабиринт гор, а затем и сквозь лабиринт множества зданий?

Это Оронт, и, кроме него, тут нигде не видно воды, если не считать Средиземного моря, которое необъятным зеркалом распростерлось в двенадцати милях к югу отсюда. Кто не видел Средиземного моря! Но не много отыщется людей, которые видели Антиохию. Под этими немногими я подразумеваю только тех, кто при этом, подобно мне и вам, вкусил плодов современного образования. А потому довольно любоваться морем, взгляните лучше на множество домов у наших ног. Вы помните, что мы с вами находимся в году от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатом. Нанеси мы этот визит позднее – например, в тысяча восемьсот сорок пятом году после рождения Христова, – нам не пришлось бы созерцать это примечательное зрелище. В девятнадцатом веке Антиохия пребывает... то есть будет пребывать в самом плачевном запустении. К этому времени она в три различные периода своей истории будет трижды разрушена до основания землетрясениями. По правде говоря, то немногое, что сохранится от нее к указанному сроку, придет в такой упадок, что патриарх должен будет перенести свою резиденцию в Дамаск. Прекрасно! Я вижу, вы последовали моему совету и занялись изучением домов и улиц, дабы

глаза насытить чудесами,
Живущими в твореньях старины,
Которыми прославлен этот город.

Прошу прощения – я забыл, что до рождения Шекспира пройдет еще тысяча семьсот пятьдесят лет. Но разве облик Эпидафны не дает мне права называть ее гротескной?

– Город хорошо укреплен и в этом отношении многим обязан не только искусству, но и природе.

Совершенно справедливо.

– В нем очень много величественных дворцов.

О да!

– А многочисленные храмы, пышные и великолепные, способны выдержать сравнение с самыми прославленными храмами античности.

Все это я должен признать. Но сколько тут глинобитных хижин и гнуснейших лачуг! Против воли мы замечаем обилие нечистот в каждой конурке, и, если бы не густое благоухание фимиама, доносящееся из всех языческих капищ, мы, без сомнения, ощутили бы и несноснейший смрад. Видели вы когда-нибудь улицы столь невыносимо узкие или дома столь чудовищно высокие? Какую сумрачную тень отбрасывают они на землю! Хорошо, что подвешенные в этих бесконечных колоннадах светильники горят и днем, иначе мы погрузились бы во тьму египетскую в дни казней.

Бесспорно, это поразительное место! Каково назначение вон того странного здания? Посмотрите! Оно возвышается над всеми остальными и находится к востоку от дворца – по видимому, царского.

Это новый храм Солнца, которому сирийцы поклоняются, называя его Эла Габала. Позже печально прославленный римский император введет его культ в Риме и получит прозвище «Гелиогабал». Вероятно, вам хотелось бы взглянуть на божество этого храма. Нет, не смотрите на небеса, его солнечное величество находится не там – во всяком случае, то солнечное величество, которому поклоняются сирийцы. Их божество укрыто в стенах храма. Ему придан образ каменного столпа, увенчанного конусом или пирамидой, обозначающей Огонь.

– Ах! Взгляните! Что это за нелепые полуголые существа с накрашенными лицами, которые, жестикулируя, что-то кричат толпящейся вокруг городской черни?

Некоторые из них – скоморохи. Других скорее можно отнести к племени философов. Но большинство – а именно те, кто сыплет направо и налево удары дубинок, – это придворные, принимающие участие, как и повелевает им долг, в той или иной достохвальной проказе царя.

– Но что там? О боже! В городе полно диких зверей! Какой ужасный вид! Какой опасный обычай!

Ужасный – пожалуй, но ни в малейшей степени не опасный. Присмотритесь внимательно, и вы увидите, что каждое животное послушно следует за своим хозяином. Правда, некоторых ведут за веревки, привязанные к их шеям, но лишь более слабых, более пугливых. Львы, тигры и леопарды свободны от пут. Они отлично выдрессированы и служат своим владельцам в должности *valets de chambre*¹¹. Правда, бывают случаи, когда Природа возвращает себе насильственно отторгнутые у нее права, но сожраный телохранитель или задушенный священный бык – это такие пустяки, что в Эпидафне о них почти не упоминают.

– Но что за оглушительный шум доносится сюда? Наверное, и для Антиохии это редкость! Он свидетельствует о событии необычайном!

Да, конечно. Царь приказал устроить какое-то новое зрелище. Гладиаторские игры на ипподроме, а может быть, избиение скифских пленников, или поджог своего нового дворца, или разрушение прекрасного храма, или же сожжение десятка-другого евреев. Гомон растет. Крики и хохот разносятся далеко вокруг. Воздух дрожит от воплей духовых инструментов и от жуткого воя, вырывающегося из миллиона глоток. Спустимся же во имя всего смешного и посмотрим, что там происходит. Вот сюда... осторожнее! Теперь мы находимся на главной

¹¹ Лакей (франц.).

улице, которая называется улицей Тимарха. В нашу сторону катится людское море, и нам будет трудно преодолеть эту волну. Толпа движется по аллее Гераклидов, которая ведет прямо от дворца, а это значит, что царь почти наверное находится в самой гуще буянов. Да-да, я слышу, как глашатай оповещает о его приближении в напыщенных восточных выражениях. Мы увидим его особу, когда он поравняется с храмом Ашима. Давайте укроемся в преддверии святилища – царь уже скоро будет здесь. А тем временем посмотрите на этого идола. Кого он изображает? О, это бог Ашима собственной персоной. Как видите, он не агнец, не козлище и не сатир, не имеет он большого сходства и с аркадским Паном. И тем не менее все эти облики приписывались... виноват – будут приписываться учеными мужами будущих веков сирийскому Ашиму. Наденьте очки и скажите мне, что он такое. Ну, и что же он такое?

– Боже мой! Это обезьяна!

Совершенно справедливо, и притом – павиан, что не мешает ему быть божеством. Имя его представляет собой производное от греческого *Simia*¹² – что за глупцы эти археологи! Но смотрите! Смотрите! Вот бежит уличный оборвыш. Куда он торопится? О чем кричит? О чем сообщает? А! Он сообщает, что царь выступает во главе торжественной процессии, что он облачен в парадные одежды, что он только что собственноручно предал смерти тысячу законных в цепи иудейских пленников! За этот подвиг маленький оборвыш перевозносит его до небес! А вон приближается целая орда ему подобных. Они сложили на латыни хвалебный гимн о доблести царя и теперь распевают его во всю глотку:

Mille, mille, mille,
Mille, mille, mille,
Decollavimus, unus homo!
Mille, mille, mille, mille, decollavimus!
Mille, mille, mille,
Vivat qui mille, mille occidit!
Tantum vini habet nemo
Quantum sanguinis effurit!¹³

В вольном переложении он звучит так:

Тысячу, тысячу, тысячу,
Тысячу, тысячу, тысячу
Единый наш воин сразил!
Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу!
Воспоемте ж его что есть сил!
Воспоемте, говорю,
Славу нашему царю,
Кем тысяча вмиг сражена!
Воспоемте громогласно!
Он один рукой ужасной
Дал нам больше крови красной,
Чем есть в Сирии вина!

– Вы слышите этот гром труб?

¹² Обезьяна (греч.).

¹³ Флавий Веспасиан утверждает, что приведенный здесь гимн распевала чернь после того, как Аврелиан во время войны с сарматами собственноручно убил девятьсот пятьдесят врагов.

Да! Царь приближается! Смотрите, люди исполнены смятенного трепета и благоговейно возводят глаза к небесам. Он близится, он близко, вот он!

– Кто? Где? Царь? Я не вижу его. Не различаю.

Значит, вы слепы.

– Возможно. Тем не менее я вижу только буйную толпу идиотов и полоумных, которые бросаются ниц перед огромным камелеопардом и пытаются целовать его копыта. Смотрите, вот он с полным на то основанием лягнул какого-то бродягу. И еще одного, и еще, и еще... Право же, я могу только восхищаться тем, как это животное орудует своими копытами.

Бродягу? Как бы не так! Это же все благородные и свободные граждане Эпидафны! Животное, вы говорите? Берегитесь, как бы вас не услышали! Разве вы не заметили, что у него лицо человека? Любезный сэр, это же сам Антиох Епифан, Антиох Преславный, царь Сирии и самый могущественный из всех самодержцев Востока! Правда, иногда его величают Антиохом Эпиманом, Антиохом Безумцем, но лишь потому, что не все люди способны по достоинству оценить его таланты. Несомненно и то, что сейчас он облачен в шкуру животного и усердно старается изображать настоящего камелеопарда, но лишь для того, чтобы лучше поддержать свое царское достоинство. К тому же монарх этот обладает сложением настоящего великана, и такое платье ему и весьма к лицу, и почти впору. Однако мы должны предположить, что он облачается в подобный наряд лишь по случаю какого-либо важного государственного события. И вы согласитесь, что избивание тысячи евреев – вполне подходящий для этого повод. С каким неподражаемым достоинством монарх резвится на четвереньках! Заметьте, его хвост несут его любимые наложницы, Эллина и Аргелия, и облик его поражал бы несравненным величием, если бы не выпученные глаза, которые, кажется, вот-вот вылезут на лоб, и не странный, по-истине неопиcуемый цвет лица, порожденный гигантским количеством выпитого им вина. Последуем же за ним на ипподром и послушаем триумфальную песню, которую он сейчас затянул:

Есть ли равный Епифану?
Нет царя такого!
Кто славнее Епифана?
Не найти другого!
Нет подобных Епифану,
Нет, и не ищите!
Эй, живее стройте храмы,
Солнце погасите!

Спето хорошо и громко! Горожане приветствуют его, называя «Князем поэтов», «Звездой Востока», «Средоточием Вселенной» и «Самым дивным из камелеопардов». Они требуют, чтобы он повторил свое творение, и – слышите? – он снова поет! На ипподроме он будет увенчан поэтическим венком в предвосхищении его победы на ближайших олимпийских играх.

– Но, спаси и помилуй нас Юпитер, что происходит в толпе позади нас?

Позади нас, вы сказали? А! О! Вижу, вижу! Друг мой, вы заметили это как раз вовремя. Поспешим же укрыться в безопасном месте. Спрячемся скорее под аркой этого акведука, и я объясню вам причину смятения. Произошло то, чего я ожидал. Появление камелеопарда с человеческой головой, по-видимому, не соответствует представлениям о приличии, которых придерживаются обитающие в городе прирученные дикие звери, а потому оно шокировало их. И вот вспыхнул мятеж. Как обычно бывает в таких случаях, никакими человеческими усилиями не удастся предотвратить панику. Несколько сирийцев уже сожрано, но, по-видимому, четвероногие патриоты задались целью скушать камелеопарда. А потому Князь Поэтов, встав на задние лапы, удирает от них во всю прыть. Придворные покинули его в беде, и налож-

ницы последовали столь превосходному примеру. «Средоточие Вселенной», тебе приходится нелегко! «Звезда Востока», тебя вот-вот сжуют! А потому не оглядывайся жалобно на свой хвост! Он, несомненно, весь вымажется в нечистотах, однако избежать этого никак нельзя. Так не оглядывайся же на свой позор, но соберись с духом, усердно работай ногами и мчись к ипподрому! Помни, что ты – Антиох Епифан, Антиох Преславный, а кроме того – «Князь Поэтов», «Звезда Востока», «Средоточие Вселенной» и «Самый дивный из камелеопардов». Боже, какую быстроту ты являешь! Какой талант работать ногами! Беги, Князь! Браво, Епифан! Давай-давай, Камелеопард! Благородный Антиох! Он бежит! Он прыгает! Он наддает! Как стрела, пушенная из катапульты, он приближается к ипподрому. Он прыгает! Он визжит! Он там! И прекрасно. Ибо помедли ты, «Звезда Востока», хотя бы миг перед воротами амфитеатра, и в Эпидафне не нашлось бы медвежонка, который не отщипнул бы кусочка от твоей туши. Поспешим же прочь! Удалимся! Ибо наши изнеженные современные уши не выдержат иступленного рева, который вот-вот поднимут антиохийцы, прославляя спасение царя. Слышите? Они уже начали. Смотрите, весь город безумствует!

– Несомненно, на всем Востоке нет столицы с более многочисленным населением! Какой океан людей! Какая пестрота всех сословий и возрастов! Какое множество религий и наций! Какое разнообразие одежд! Какое смешение языков! Как рычат и воют звери! Как грохочут всяческие музыкальные инструменты! И сколько тут философов!

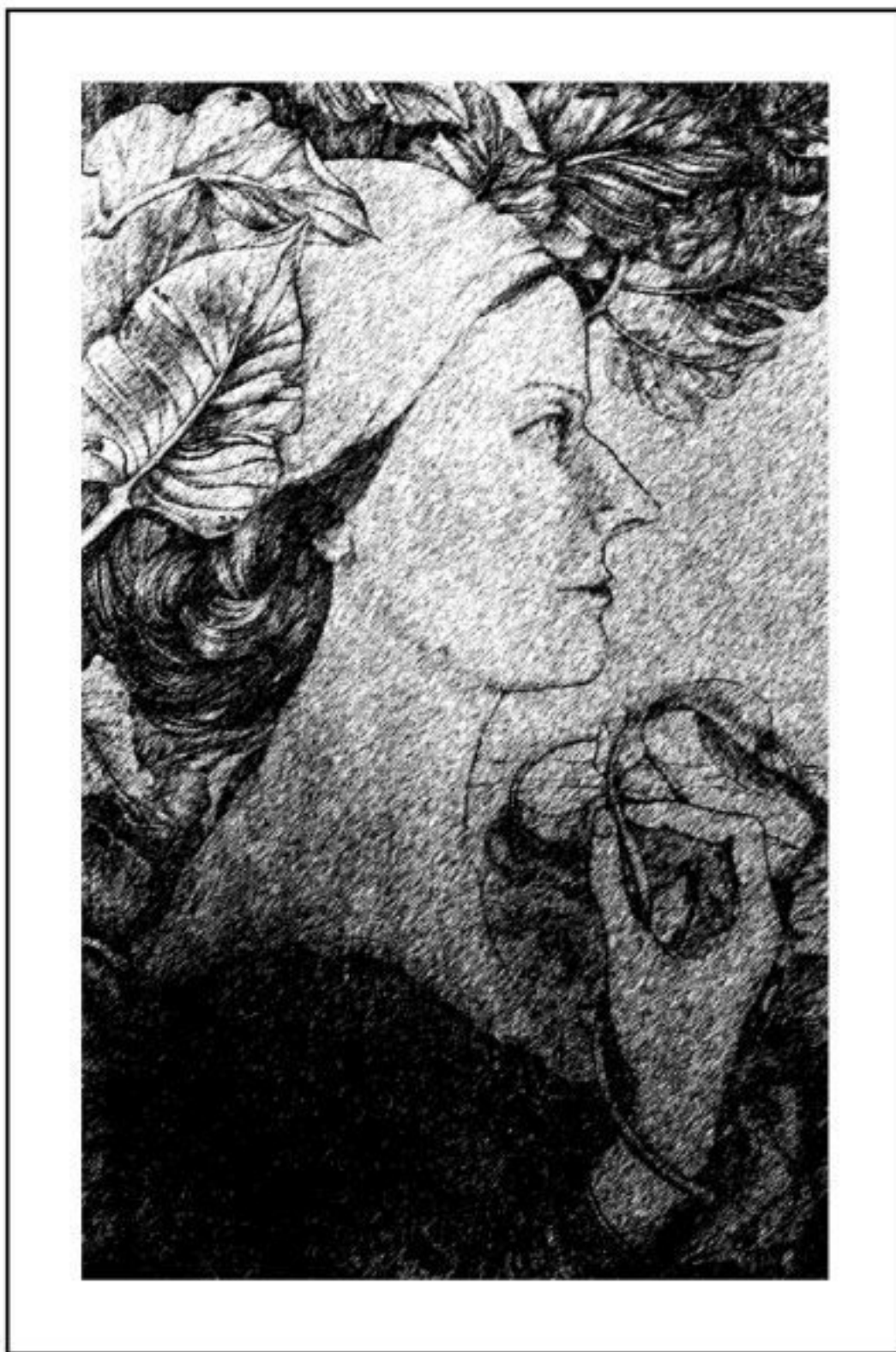
Уйдемте же!

– Погодите! Я замечаю на ипподроме невероятную суматоху. Умоляю, объясните, что она означает.

Ах, это? Сущий вздор! Благородные и свободные граждане Эпидафны, убедившиеся, по их словам, в благочестии, доблести, мудрости и божественности своего царя, а кроме того, воочию наблюдавшие его недавний сверхчеловечески быстрый бег, считают своим долгом возложить на его чело вдобавок к поэтическому венку еще и венок победителя в состязании бегунов – венок, который он, как явствует со всей очевидностью, не может не завоевать на следующих олимпийских играх и который они поэтому вручают ему авансом.

Лигейя

И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.
Лжозеф Гленвилл



Рассказ «Лигейя» впервые опубликован в журнале «Америкен мьюзиум» в сентябре 1838 г.

На русском языке впервые – в журнале «Дело», май 1874 г.

Лигейя

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья... о конечно, она мне о ней говорила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом – Лигейя! – воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов – возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шуточный запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз – исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле – даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез – эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантазмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая пленительная красота, – утверждает Бекон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, – всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «пленительна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба – он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос – такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного – великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома

нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков – те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного – красотой сказочной гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеяли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске – ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита, которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой, и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлекийший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, – и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна – звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко – строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью – как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она – внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя – с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и пугали меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированное™, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи – поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы – во всяком случае, известные мне самому – она тоже знала безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала – пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, – что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели – к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ошупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии, в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, – и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса, – но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни – только к жизни! – и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише – и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова

туманилась и шла кругом, пока я заворожено внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.